

ВАЛЕРИЙ СДОБНЯКОВ

ЯБЛОКИ РУССКОГО САДА

К 80-летию О. Н. Шестинского

За окном моего деревенского дома стоят по-осеннему отяжелевшие, увешанные сочными и красивыми плодами яблони. Это тем более удивительно, что прошедшая зима выдалась малоснежной и очень морозной, жестоко морозной. И я с декабря по февраль, как и многие знакомые мне люди, гадал – вымерзнут деревья, много лет назад мной самим посаженные у крепкого пятистенного бревенчатого дома, или погибнут под натиском безжалостной стихии?

Вообще-то сразу за Волгой берет свое начало бескрайняя матушка тайга. И тепло сюда, хоть и разница с доволжскими землями всего-то в двадцать – тридцать километров, приходит на две недели позже. Потому, когда высаживал я саженцы яблонь у себя под большими, для вольного взгляда окнами специально выстроеной для созерцания веранды, доброхоты меня всячески отговаривали. Называли эту затею пустой и даже посмеивались: “Ты же видишь, что ни у одного дома в нашей деревне яблони не растут. А ты что же, думаешь, всех умнее?”

Да ничего я не думал. Просто хотел, чтобы у моего дома росли яблони, и потому их сажал. И еще: в деревне действительно ни у одного дома яблонь посажено не было. Но прежний хозяин моего дома наперекор всему взял и посадил два дерева – антоновку и осеннюю полосатую. И деревья прижились, выстояли. И по сей день дают отменный урожай. Потому иногда и приходится задуматься, что лучше – поступать, как принято, “как все”, или так, как подсказывает тебе твоё сердце.

Неуловимо и быстро спускаются в сад за окном влажные, туманящиеся сумерки. Деревья теряют свои очертания, пропадает густо-зелёная пышность приготовившейся к увяданию листвы. И лишь яблоки яркими жёлтыми фонариками продолжают мерцать непостижимым, неведомо откуда берущимся светом...

Я встаю с кресла, взяв в руки с колен журнал “Слово”, где опубликован рассказ моего старшего товарища Олега Николаевича Шестинского, и осторожно щелкаю рычажок выключателя.

Свет заливает большую комнату, стеллаж, заставленный вазочками, кувшинчиками и прочими баночками, чайничками, солоночками – трофеями бесконечной хозяйственной деятельности моей неугомонной супруги. Живые же яблони за окном, только что так улаждавшие мой взор истинной красотой, мгновенно гаснут, теряются во мраке. Потому мне и не хочется здесь оставаться, и я ухожу к себе, поднимаюсь на второй этаж, туда, где стеллажи с книгами, папки с рукописями, чтобы ещё раз перечитать исповедальное “Серафимовское кладбище” дорогого мне человека.

Как я должен благодарить судьбу за то, что неведомыми для нас путями она соединяет разрозненные человеческие судьбы и сердца, жаждущие понимания и братской любви!

К тому моменту, когда Николай Переяслов в своём кабинете в здании Союза писателей России передал мне для издания в Нижнем Новгороде рукописи рассказов Олега Николаевича, при этом попытавшись объяснить, кто он такой, — имя поэта Шестинского было мне прекрасно известно. Ещё в тех далёких семидесятих годах прошлого века, со времени моей литературной молодости, я читал его стихи. Но рассказы! Эта грань писательского таланта Олега Шестинского как-то прошла совсем мимо моего, в общем-то, заинтересованного читательского внимания.

Особенно тронул меня рассказ “Мать моей матери” — о бабушке, блокадном ленинградском холоде и голоде, о детстве, о всём том страшном и непереносимом, что выпало на долю автора в начальные годы его жизни. Но что значит — “непереносимом”? Ведь перенесли, выдюжили, выжили. И всё это в условиях невероятных, несопоставимых с жизнью. Так за счёт чего же?

“Священник с бескровным, выбеленным ликом ветхозаветного пророка окормлял паству. Он толстился фигурой, потому что под рясу напялил стёганный ватник, перевязался шерстяным поясом, тупоносо выставлялись из-под одежды валенки. Как-то он глухо выстал с амвона в мороз, приледенивший всё живое: “Отроки и старцы, наденьте шапки. Грех — на мне”. Но никто не уберётся от стужи ушанками, сжимали шапки в руках, словно готовились к жертвенности. Причастие разбавлялось тёплой водой до того, что едва лишь отсвечивало розовостью. Пар из уст прихожан воскуривался, не тая, будто выдыхалась сама молитва. Нищих с протянутыми руками не обнаруживалось — все были нищими перед Богом.

На улице, мнилось, теплее, сырость и промозглость каменного чрева храма улетучивались на вольном, жгучем морозном воздухе. Бабушка, выйдя со мной из храма, непременно крестила меня, обласкивая уверенностью: “Ещё один шаг к жизни. Помни”.

Вот всё это, прочитанное и вроде бы даже пережитое мной самим, позволило, в какой-то миг, обрадоваться и написать письмо Олегу Николаевичу.

Но на моё личное письмо Шестинский тогда ответил всё-таки с некоторой осторожностью и даже недоверчивостью, что, впрочем, вполне объяснимо. Он отвечал на письмо совершенно незнакомому издателю неведомого провинциального журнала. Каким же ещё мог тогда быть ответ?

Но, что называется, “шлюзы открылись”, “искра пробежала”. А примерно через год, осенью 2003 года, мы впервые познакомились воочию, встретились, и Олег Николаевич обрадовал меня душевной открытостью, опережающей доброжелательностью.

Без усталости целый вечер проговорили мы тогда с ним, затрагивая самые разные темы — от политики до истории. Но всё-таки центром нашей беседы была литература.

В завершение всего, уже поздно вечером, уложил меня Олег Николаевич спать в своём кабинете, в святая святых для писателя, где стены от пола до потолка заняты полками с книгами, а над письменным столом висит родовая бабушкина икона Иверской Божией Матери, блокадная спасительница и путеводительница на протяжении долгой и щедро отмеренной Богом жизни.

И вот буквально россыпь последующих рассказов Олега Шестинского является в разных отечественных изданиях. И воспринимаются они как нечто единое, целостное — как исповедь.

Вот, например, рассказ “Молитва радости”. Фабула его довольно проста и незатейлива. Сюжет тоже абсолютно, как говорится, “из нашей жизни”. Любимый, родной человек — внучка уезжает с родителями на постоянное местожительство в Соединённые Штаты. Рвётся в сердце деда некая нить, связывающая его не только с внучкой, как с безмерно любимым человеком, но и с чем-то не сразу уловимым. Рвётся с этим отъездом связь времён, происхо-

дит изменение бытия. Может быть, это ещё не совсем понятно расстающимся, но душа скорбит, душа мятётся, внутренний мир деда терпит насилие над собой, потому что от него отрывают то, без чего ему в этом мире будет горько и одиноко. И всё это, все ощущения и переживания передаются читателю исподволь. Более того, они даже вступают в полное противоречие с внешней канвой сюжета, ибо вроде бы причин для переживаний как раз никаких нет. Там как раз всё очень хорошо, благополучно. И внучка, и родители начинают новую, устроенную и очень обеспеченную жизнь в полном достатке. Но отчего же тогда по прочтении “Молитвы радости” хочется плакать?

Или вот другой рассказ, более “научный”, или, может быть, выразиться так – более интеллектуальный: “Молись!.. Мы ещё сможем...”.

Внутри рассказа сюжет разбит как бы на две части, где первая – историческая. Повествуется в ней о жизни и скитаниях в дивный Царь-град “Божьего человека” Елизария, где он в конце своего земного срока принял постриг и основал скит, возле которого после его смерти “хлопотами богомольцев вознёсся монастырь по имени Елизария”.

В этом монастыре подвизался дивный старец Филофей, который в 1524 году писал: “...Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, и это – российское царство: ибо два Рима пали, а Третий стоит, а Четвёртому не быть...”.

Но вот действие переносится в наши дни. Герой рассказа (а теперь повествование идет уже от первого лица) приезжает во Псков и посещает развалины рухнувшей в 1989 году колокольни Елизарьевского монастыря. Разговаривает с дедом о случившемся и обо всём прочем, происходящем как вокруг святых, так и вообще в стране.

В итоге же вся эта сложная и напряженная духовная работа заставляет героя иначе взглянуть на действительность, на свою прожитую жизнь, пережить глубокое духовное очищение. Ведь речь идёт о спасении, о вере, о чуде для его любимой Родины – России.

* * *

Надо сказать, что когда после нашего состоявшегося знакомства я приезжал в столицу, то Шестинские, зимой обычно живущие в московской квартире, на время передавали в моё полное распоряжение свою переделкинскую дачу, где на втором этаже в кабинете Олега Николаевича мне был определён ночлег. Днём я занимался делами в столице, а вечером с Киевского вокзала уезжал в Переделкино. Там шёл пешком до улицы Павленко. Свернув на неё от Дома творчества, продвигался тихой, затаившейся улицей, у которой с одной стороны вольным бело-голубым цветом разлилось заснеженное поле, а с другой – стояла дача, в которой некогда жил Владимир Солоухин. Зимой этот участок улицы безлюден. Снег вокруг дач глубок и не потревожен. Могучие ели стоят, опущенные снегом.

Возвращаясь с затянувшейся ночной прогулки, я прошел через территорию Дома творчества. Тихие корпуса, тёмные окна, узкие дорожки, очищенные от снега, старые, неподвижные, много чего видавшие за свой долгий век деревья.

Войдя в дом, я поднялся на второй этаж, в рабочий кабинет поэта, включил свет.

На письменном столе лежала книга Шестинского “Птица спасения”. В ней были собраны стихи “смутного времени”. Я начал её читать. Неторопливо, страница за страницей.

Страшные разочарования, потери, предательства, измены – но и радость обретения новых друзей – вместила она на своих страницах. Словно бросая вызов осквернителям своей страны, тем, кто унизил, ограбил, предал ее, Олег Шестинский говорит прямо в лицо – вот моя позиция, моя оценка ваших преступлений, и я не боюсь, но презираю вас, потому что есть еще и главный, высший суд – суд Совести, Божий суд – к нему готовьтесь.

В книге помещено более двухсот стихотворений, которые, в свою очередь, разбиты по разделам: “Преданным, любящим, ушедшим”, “Россия”, “Моя бессмертная блокада”, “Земное небо”. Мне трудно было сразу найти

единое определение этого поэтического труда, пока, наконец, не понял: это духовный дневник автора, подобно тем, что пишет для себя каждый из нас, готовясь к таинствам исповеди и причастия. Безусловно, в книге много душевной смуты, непокоя, особенно в стихах “политических”. Ну, а возможно ли, чтобы было иначе? Ведь окрест рушилось, осквернялось, предавалось самое дорогое – неисчислимы жертвы и страдания войны, муки и голод блокады, все девятьсот дней которой ребёнком Олег Шестинский пережил в Ленинграде. Казалось, в этой вакханалии переворачивается мир, да и сама надежда на свет навсегда уходит из нашей жизни. Мог ли всё это поэт пережить без душевной смуты, без отчаяния? К тому же столько личных, безвозвратных потерь принесло это время – ушли из жизни близкие друзья: Владимир Соколов, Глеб Горышин, Владимир Торопыгин. . .

*Когда умирает товарищ,
не грусть, не печаль, не тоску,
иное в себе ощущаешь,
а что — я сказать не могу.*

*Как будто бы сам, огорчённый,
спешил на Небесный Вокзал,
но к звездам умчались вагоны,
а ты, как всегда, опоздал.*

* * *

Поздней ночью я заканчиваю в своей нижегородской деревне эти заметки, спускаюсь вниз, на первый этаж своего дома, потеплее одеваюсь и выхожу в безмолвную, росистую сентябрьскую ночь.

Высокое чистое небо бросает мне в глаза россыпи звёзд. Чувства одиночества и восторга смешиваются во мне. Я оборачиваюсь к дому и вижу, как оставленный на веранде свет освещает мои яблони, и фонарики плодов на отяжелевших, обвисших ветках вновь радостно и призывно горят. И тогда мне подумалось: друг мой! Пусть пришла осень в твою жизнь. Но какие бы холода ни стояли в России, они не погубят побеги твоего творчества. . .

Окружающий мрак может быть долгов, но не вечен. Вечны лишь творения праведные, созданные по законам Совести и Любви и воплощённые в его величество – Слово.